

САД С РАЗДВАИВАЮЩИМИСЯ ДОРОЖКАМИ

На 252-ой странице "Истории европейской войны" Лиддела Гарта можно прочесть, что наступление на линии Серр-Майтобан тринадцати британских дивизионов (поддержанных тысячью четырехстами артиллерийскими орудиями) было первоначально назначено на 24 июля 1916 года, но затем перенесено на 29 июля. Запоздание — весьма незначительное, конечно — было вызвано (как отмечает капитан Лиддел Гарт) проливными дождями. Следующее заявление, продиктованное, прочтенное и подписанное доктором Ю Пуном, бывшим преподавателем английского языка в ХохшULE города Пинчу, проливает на это событие неожиданный свет. Первые страницы отсутствуют.

"... и я повесил трубку. Немедленно вслед за этим я узнал голос, ответивший по-немецки. Это был голос капитана Ричарда Маддена. Появление Маддена в конторе Виктора Рунеберга означало конец наших тревог, а также — но это казалось менее важным, или должно было казаться мне таковым — наших жизней. Голос Маддена в телефонной трубке означал, что Рунеберг арестован или убит.¹⁾

Еще до захода солнца меня ожидала та же участь. Мадден был неумолим. Ирландец на английской службе, обвиненный в недостатке рвения и, быть может, в измене, — не мог

1) Постыдное и экстравагантное предположение. Германский шпион Ганс Рабнер, по кличке Виктор Рунеберг, напал с применением автоматического револьвера на капитана Ричарда Маддена, доставившего ордер на арест его. Последний, в пределах самозащиты, нанес ему раны, которые вызвали смерть. (Примечание издателя).

не воспользоваться такой чудесной удачей, как обнаружение, поимка и, возможно, убийство двух агентов Германской империи. Я поднялся наверх в свою комнату, закрыл за чем-то дверь на ключ и вытянулся на узкой железной кровати. В окне виднелись знакомые крыши домов и дымчатое солнце, обычное для шести часов пополудни. Мне показалось невероятным, что этот день, лишенный всяких символов и предзнаменований, окажется днем моей неизбежной смерти. Несмотря на смерть моего отца, несмотря на детство, проведенное в симметричном саду Хай Фэн, я должен теперь умереть — и я тоже? Потом я подумал, что все случается с нами по необходимости. Проходят тысячи лет, но все, что случается с бесчисленным множеством людей в воздухе, на суше и на воде, и со мной тоже — происходит только в настоящем времени... Почти невыносимое воспоминание о лошадином лице Маддена прервало эти блуждания мысли. Из центра моей ненависти и ужаса (бесполезно сейчас говорить об ужасе, поскольку я обыграл Ричарда Маддена, и мою шею ожидает петля) всплыла мысль, что этот пылкий и удачливый солдат не подозревает, что мне известен секрет — название местоположения нового британского артиллерийского парка на Анкре. Птица прочертила серое небо, я машинально преобразовал ее в самолет, затем в большое число самолетов (во французском небе), уничтожающих артиллерийский парк вертикально падающими бомбами. Если бы только мой рот, прежде чем захлебнуться пулей, смог прокричать это имя и быть услышанным в Германии... Мой человеческий голос слишком слаб. Как сделать, чтобы он достиг ушей шефа, этого больного и жалкого человека, который знал о Рунеберге и обо мне только

то, что мы находимся в Стаффордшире, и тщетно ожидал новостей от нас в своем сумрачном бюро в Берлине, беспрерывно просматривая газеты?.. Я громко произнес: "Надо бежать", и стал бесшумно одеваться, в ненужно полной тишине, как будто Мадден уже подстерегал меня. Что-то- быть может, простое желание окончательно убедиться в том, что мои ресурсы равны нулю- заставило меня осмотреть карманы. Я нашел в них то, что ожидал найти: американские часы, никелевую цепочку с прямоугольной пластинкой, связку ключей, в том числе компрометирующие и бесполезные ключи от бюро Рунеберга, записную книжку, письмо, которое я решил немедленно уничтожить (и не уничтожил), крону, два шиллинга, несколько пенсов, носовой платок и револьвер, заряженный одной пулей. Повинуясь абсурдному порыву, я взял его и взвесил, словно пытаюсь придать себе смелости. Потом рассеянно подумал, что револьверный выстрел слышен на большом расстоянии. В эту минуту и возник мой план. По телефонному справочнику я узнал имя единственного человека, способного передать шефу новость, и его адрес: пригород Фентон, полчаса езды на поезде.

Я- трус. Я говорю это сейчас, после того, как осуществил свой план, который никто не назовет рискованным. Я знаю, что его исполнение было ужасным. Я сделал это не ради Германии, нет. Что значит для меня эта варварская страна, вынудившая меня к престранному занятию шпионажем. Кроме того, я знаю одного скромного англичанина, который значит для меня ничуть не меньше, чем Гете. Я разговаривал с ним в течение часа, и в этот час он был моим Гете...

Свой план я осуществил лишь потому, что чувствовал, что шеф презирает неисчислимый род предков, воплотившихся во мне. Я хотел доказать, что желтый способен спасти его армию. Кроме того, мне необходимо было бежать от капитана. Его рука могла постучать, его голос мог послышаться у моей двери с минуты на минуту. Я бесшумно оделся, попрощался с собой в зеркале, медленно спустился вниз, осмотрел улицу и вышел. Вокзал находился недалеко от дома, но я предпочел взять такси. Я подумал, что таким образом меньше рискую: дело в том, что на пустынной улице я казался себе бесконечно видимым и уязвимым. Вспоминаю, что приказал водителю остановиться, немного не доехав до центрального входа. Я вышел с медлительностью, принужденной и почти мучительной; ехать надо было до Энгроува, но я взял билет до следующей станции. Поезд отправлялся через несколько минут, в восемь пятьдесят. Я поспешил: следующий поезд отходил в девять тридцать. На перроне было немногочисленно. Я быстро отошел в конец поезда, миновав несколько крестьян, женщину в трауре, молодого человека, погруженного в "Анналы" Тацита, раненого и счастливого солдата. Наконец, поезд тронулся. За окном, по перрону пробежал человек, которого я узнал. Это был капитан Ричард Мадден. Униженный, дрожащий, я забился в угол купе, подальше от опасного окна.

После этой униженности мной овладела почти неприличная радость. Я подумал, что в завязавшейся схватке я выиграл первый раунд, отразив на сорок минут, пусть случайно, атаку противника. Далее я заключил, что моя ничтожная победа предвещает победу полную, вследствие чего она отнюдь

не ничтожна, поскольку без драгоценной разницы во времени, подаренной мне расписанием поездов, я оказался бы в тюрьме или был бы убит. Я пришел к выводу /достаточно софистичному/, что мое трусливое счастье доказывает, что я — как раз тот человек, который способен успешно осуществить мой план. В своей области я нашел силу, и она больше меня не покинула. Я предвижу, что дела людей в будущем будут все более ужасными; скоро не останется никого, кроме солдат и бандитов; им я даю свой совет: отваживаясь на рискованное предприятие, необходимо вообразить, что оно уже осуществилось, и навязать себе тем самым будущее, столь же непрекращаемое, как прошлое. Именно так я и поступил, в то время как мои глаза уже мертвого человека вопрошали истекающий, возможно последний, день и изливающуюся ночь.

Поезд легко бежал между рядов ясеней. Он остановился почти в чистом поле. Никто не выкрикнул названия станции.

— Эшгроув? — спросил я у детей на перроне.

— Эшгроув, — ответили они.

Я вышел. Перрон был освещен лампой, но лица детей оставались в темноте. Один из них спросил меня: "Вы идете к доктору Стивену Альберту?" Не ожидая ответа, другой сказал: "Его дом далеко, но Вы не заблудетесь, если пойдете по этой дороге налево и на каждом перекрестке будете сворачивать налево". Я бросил им монету /последнюю/, спустился по нескольким каменным ступеням и вступил на уединенную дорогу, которая шла под уклон. Она была лишена покрытия, ветви наверху соприкасались, луна, низкая и круглая, казалось, сопровождала меня. На мгновение я решил,

что Ричард Мадден каким-то образом проник в мой отчаянный замысел, но скоро понял, что это невозможно. Совет всегда поворачивать налево напомнил мне обычную процедуру обнаружения центрального дворика в некоторых лабиринтах. Я кое-что понимаю в лабиринтах: недаром я — потомок известного Пуй Пэна, который был губернатором Юннаня и отказался от преходящей власти, чтобы написать роман, более популярный, чем Хун Лю Мен, и построить лабиринт, в котором бы заблудился любой человек. Он посвятил тридцать лет этим разнородным усилиям, но погиб от руки иностранца; в его романе не нашли смысла, а лабиринт вообще не обнаружили. Под английскими деревьями я предался размышлениям об этом утраченном лабиринте, и видел его то нетронутым и завершенным на вершине некоей горы, то стертым под рисовые плантации и опустившимся под воду, то бесконечным и составленным не из восьмигранных тумб и изгибающихся дорожек, а из речных потоков, провинций и царств... Я подумал о лабиринте лабиринтов, об извилистом растущем лабиринте, охватывающем прошлое и будущее и некоторым образом заключающем в себе звезды. Погруженный в эти иллюзии и воображения, я забыл о своем уделе преследуемого; в течение какого-то времени я ощущал себя абстрактным созерцателем мира. Мягко раскинувшаяся и полная жизни местность, луна, остатки дневных впечатлений волновались во мне, в то время как уклон дороги устранял всякую возможность усталости. Вечер был интимен, бесконечен. Дорога спускалась и раздваивалась в полях, уже утративших ясность очертаний. Пронзительная и как бы составленная из слогов

музыка приближалась и удалялась порывами ветра, приглушенная листвой и расстоянием. Я подумал, что человек может быть врагом людей, в другое время— других людей, но никогда врагом страны,— ни искрящихся стихов, ни слов, ни садов, ни струй воды, ни закатов. С этими мыслями я подошел к высоким заржавленным воротам. Между прутьями решетки виднелась аллея и нечто похожее на павильон. Внезапно я осознал две вещи; первую— банальную, вторую— почти немыслимую: из павильона доносилась музыка, и эта музыка была китайской. Вот почему я не обратил на нее внимания и воспринял без труда. Не помню, был на воротах колокольчик или звонок, или я просто постучал.

Музыка не прекратилась, но из глубины дома приблизился фонарь, свет которого пересекали и заслоняли на мгновение стволы деревьев. Это был бумажный фонарь, в форме барабана и лунного цвета; его нес человек высокого роста. Я не увидел лица, так как свет меня ослеплял. Человек открыл створку ворот и сказал по-китайски:

— Я вижу, благочестивый Хи Пэн желает скрасить мое одиночество. Вы без сомнения, хотите осмотреть сад?

Я узнал одного из наших консулов и повторил рассеянно:

— Сад?

— Сад с раздваивающимися дорожками.

Что-то пробудилось в моей памяти, и я произнес с непостижимой уверенностью:

— Сад моего предка Цуй Пэна.

— Вашего предка? Вашего знаменитого предка? Войдите.

Влажная дорожка шла зигзагами, подобно дорожкам моего

музыка приближалась и удалялась порывами ветра, приглушенная листвой и расстоянием. Я подумал, что человек может быть врагом людей, в другое время— других людей, но никогда врагом страны,— ни искрящихся стихов, ни слов, ни садов, ни струй воды, ни закатов. С этими мыслями я подошел к высоким заржавленным воротам. Между прутьями решетки виднелась аллея и нечто похожее на павильон. Внезапно я осознал две вещи; первую— банальную, вторую— почти немыслимую: из павильона доносилась музыка, и эта музыка была китайской. Вот почему я не обратил на нее внимания и воспринял без труда. Не помню, был на воротах колокольчик или звонок, или я просто постучал.

Музыка не прекратилась, но из глубины дома приблизился фонарь, свет которого пересекали и заслоняли на мгновение стволы деревьев. Это был бумажный фонарь, в форме барабана и лунного цвета; его нес человек высокого роста. Я не увидел лица, так как свет меня ослеплял. Человек открыл створку ворот и сказал по-китайски:

— Я вижу, благочестивый Хи Пэн желает скрасить мое одиночество. Вы без сомнения, хотите осмотреть сад?

Я узнал одного из наших консулов и повторил рассеянно:

— Сад?

— Сад с раздваивающимися дорожками.

Что-то пробудилось в моей памяти, и я произнес с непостижимой уверенностью:

— Сад моего предка Цуй Пэна.

— Вашего предка? Вашего знаменитого предка? Войдите.

Влажная дорожка шла зигзагами, подобно дорожкам моего

детства. Мы вошли в библиотеку восточных и западных книг. Я узнал несколько переплетенных в желтый шелк рукописных томов Потерянной Энциклопедии, составлением которой руководил Третий Император Сияющей Династии, и которую так никогда и не отдали в печать. Грамофонный диск вращался рядом с бронзовым фениксом. Вспоминаю также большой глиняный кувшин розового цвета и другой, сделанный несколькими веками раньше, того синего цвета, который наши ремесленники позаимствовали у персидских гончаров...

Стивен Альберт с улыбкой осматривал меня. Он был /я уже говорил/ очень высок, имел правильные черты лица, серые глаза и седую бороду. В нем было что-то от священника и вместе с тем от моряка; чуть позже он мне рассказал, что прежде, чем вознамериться стать синологом, он был миссионером в Тьенцине.

Мы сели; я — на длинный низкий диван, он спиной к окну и большим круглым настенным часам. По моим расчетам мой преследователь, Ричард Мадден, прибудет сюда только через час. Мое непрекращаемое решение могло подождать.

— Удивительна судьба Пуи Пэна, — сказал Стивен Альберт. — Губернатор своей родной провинции, искушенный в астрономии, астрологии и неиссякаемом интерпретировании канонических книг, великолепный игрок в шахматы, знаменитый поэт и каллиграф, он забросил все, чтобы составить книгу и лабиринт. Он отказался от радостей власти и справедливости, от множества наложниц и банкетов, даже от эрудиции — на тридцать лет затворившись в Павильоне Незамутненного Одиночества. После его смерти наследники не нашли ничего,

кроме хаотических рукописей. Родственники, как вы, конечно, знаете, хотели предать их огню; но его душеприказчик-монах-даос, или буддист, — настоял на том, чтобы их опубликовали.

— Соотечественники Пуй- Пэна, — ответил я, — до сих пор проклинаят этого монаха. Публикация была бессмысленной; книга оказалась расплывчатым нагромождением противоречащих друг другу черновиков. Я просматривал ее недавно: в третьей главе герой умирает, в четвертой — снова жив. Что же касается другой затем Пуй Пэна, его лабиринта...

— Он здесь, — сказал Стивен Альберт, указывая на большой лакированный секретер.

— Лабиринт из слоновой кости! — вскричал я. — Миниатюрный лабиринт...

— Лабиринт символов, поправил Альберт. — Незримый лабиринт времени. Мне, английскому ваввару, суждено было раскрыть эту несокрытую тайну. Невозможно воспроизвести все подробности столетней давности, но нетрудно догадаться, что произошло. Пуй Пэн сказал однажды: "Я удаляюсь, чтобы написать книгу". И в другой раз: "Я удаляюсь, чтобы построить лабиринт." Все решили, что речь идет о двух разных вещах, и никто не подумал, что книга и лабиринт — одно и то же. Павильон Незамутненного Одиночества возвышался, по-видимому, среди заброшенного сада; это навело людей на мысль о материальном лабиринте. Когда Пуй Пэн умер, нигде в принадлежащих ему обширных землях лабиринт не был найден; путаница, царящая в его романе, заставила меня подозревать, что книга и есть лабиринт. Два обстоятельства

способствовали точному разрешению проблемы. Первое— любопытная легенда, согласно которой Пуи Пен задумал бесконечный лабиринт. Другое— фрагмент письма, обнаруженный мной.

Альберт поднялся. В течение нескольких секунд его спина была обращена ко мне; он выдвинул ящичек секретера, сделанный из потемневшего золота, и вернулся с небольшим листком бумаги, некогда темно-красным, а теперь розовым и разграфленным на квадраты.

Аутентичность каллиграфии Пуи Пена была подтверждена. Не понимая, но с глубоким волнением я прочел слова, которые человек моей крови вывел некогда миниатюрной кисточкой: "Оставляю многочисленным будущим /не всем/ сад с раздваивающимися дорожками." Я молча вернул листок. Альберт продолжил:

— Прежде, чем обнаружить это письмо, я спрашивал себя, что значит бесконечная книга, и не мог представить ничего, кроме циклического, кругообразного повествования, последняя страница которого была бы идентична первой, с возможностью продолжаться бесконечно. Я вспомнил ту ночь в середине "1001 ночи", когда царица Шахрезада /благодаря удивительной рассеянности переписчика/ начинает текстуально точно рассказывать историю 1001 ночи, рискуя вновь дойти до той ночи, когда она ее рассказывает, и так до бесконечности. Кроме того, я представил платонический, наследственный, передающийся от отца к сыну труд, к которому каждый новый автор добавляет новую главу или с благочестивой заботливостью исправляет страницу, написанную пред-

шественниками. Эти предположения меня увлекли, но ни одно из них, как оказалось, не соответствовало взаимно противоречащим главам книги Пуи Пана. Мое состояние растерянности прервал полученный из Оксфорда манускрипт, который вы только что видели. "Оставляю многочисленным будущим /не всем/ сад с раздваивающимися дорожками". Внезапно я понял: "сад с раздваивающимися дорожками" это и есть хаотический роман; оборот "многочисленным будущим /не всем/" подсказал мне идею раздвоения во времени, а не в пространстве. Новое полное прочтение труда подтвердило мою теорию. В обычном повествовании всякий раз, когда возникает возможность различных решений, писатель выбирает одно из них и устраняет остальные; в почти безнадежно запутанном романе Пуи Пана он принимает их все- одновременно. Тем самым он творит различные будущие, различные времена, которые раздваиваются и таким образом порождаются делением. Отсюда противоречия романа. Например, Фан хранит секрет, в дверь стучится незнакомец, Фан решает его убить. Естественно, возможно несколько развязок: Фан убивает пришельца, пришелец убивает Фана, оба остаются в живых, оба погибают и т.д. В труде Пуи Пана все развязки осуществляются одновременно; и каждая из них служит исходной точкой для следующего раздвоения. Иногда дорожки этого лабиринта сливаются: например, вы пришли ко мне, но в одном из прошедших времен вы- мой враг, а в другом- друг. Если вы будете снисходительны к моему несовершенному произношению, мы прочтем несколько страниц.

В ослепительном свете лампы его лицо казалось лицом

старика, но с присутствием чего-то устойчивого и даже бессмертного. Он прочел две редакции одной и той же главы эпического характера. В первой из них армия идет в сражение через пустынные горы; ужас камней и теней внушает ей презрение к жизни и она легко одерживает победу; во второй-та же армия проходит мимо дворца, в котором дается праздник; развернувшееся сражение кажется ей продолжением праздника и она одерживает победу. Я слушал с глубоким почтением, приличествующим этим старым историям, возможно менее восхитительным, чем тот факт, что они созданы моим народом и что подданный далекой империи воспроизвел их в обстановке авантюры, на Западном острове. Вспоминаю заключительные слова, повторяющиеся в каждой редакции, как своеобразный тайный приказ: "Так, с восхищенным и спокойным сердцем, с неистовым клинком, сражаются герои, готовые убивать и погибать."

В это мгновение я ощутил вокруг себя и во тьме своего тела невидимое, едва уловимое движение— не кишение двоящихся армий, параллельных и в конце концов совпадающих, а движение более недоступное, более интимное, в которое они каким-то образом преобразовалось. Стивен Альберт продолжал:

— Не думаю, чтобы ваш знаменитый предок бесцельно разыгрывал все эти варианты. Вряд ли правдоподобно, чтобы он пожертвовал тридцатью годами жизни ради бесконечной реализации риторических упражнений. В вашей стране роман-второстепенный, а в те времена— низкий, презираемый жанр. Пуй Пэн был гениальным романистом, но вместе с тем, без

сомнения, не смотрел на себя только как на романиста. Свидетельства современников указывают — и его жизнь это подтверждает — на пристрастие Пуй Пэна к метафизике и мистике. Философская проблематика занимает большую часть его романа. Насколько мне известно, из всех проблем ни одна не беспокоила и не мучила его в такой степени, как фундаментальная проблема времени, и вместе с тем это единственная проблема, которая не рассматривается на страницах "Сада". Пуй Пэн даже не употребляет слова, обозначающего "время". Как вы объясните это намеренное упущение?

Я предложил несколько решений; все они оказались неудовлетворительными. Мы обсудили их, наконец Стивен Альберт сказал:

— В загадке, темой которой служит игра в шахматы, какое слово не должно быть упомянуто?

— Слово "шахматы".

— Совершенно верно, — сказал Альберт. — "Сад с раздваивающимися дорожками" представляет собой огромную загадку или притчу, темой которой служит время. Вот скрытая причина, не позволившая Пуй Пэну употребить слово "время". Постоянно опуская одно и то же слово, прибегая к неадекватным метафорам и очевидным перифразам, он самым убедительным образом указывал на него. Уклончивый Пуй Пэн предпочитал окольный путь в каждой излучине своего неиссякаемого романа. Я сличил сотни рукописей, исправил ошибки, которые внесла в них небрежность переписчиков, наметил план в этом хаосе, восстановил, или думаю, что

восстановил, первоначальный порядок, перевел весь труд и констатировал, что в нем ни разу не было употреблено слово "время". Объяснение очевидно. "Сад с раздваивающимися дорожками"— не полный, но и не ложный, образ вселенной, как ее понимал Пуй Пэн. В противоположность Ньютону и Шопенгауэру, ваш предок не верил в однородное, абсолютное время; он верил в бесконечный временные последовательности, в возрастающую и головокружительную сеть расходящихся, сходящихся и параллельных времен. Его нить времени, которая разматывается, раздваивается, обрывается, теряется на века,— охватывает все возможности. В большинстве этих времен мы не существуем; в каких-то существуете только вы; в каких-то— только я; в каком-то времени я произношу те же слова, что и сейчас, но являюсь плодом вашего воображения, призраком.

— Во всех временах,— выговорил я не без дрожи,— я преклоняюсь перед вашим трудом по восстановлению сада Пуй Пэна и благодарю вас за это.

— Не во всех,— ответил Альберт с улыбкой.— Время постоянно раздваивается навстречу бесчисленным будущим. В одном из них я— ваш враг.

Я снова ощутил то движение, о котором уже говорил. Мне показалось, что мокрый сад вокруг дома до бесконечности заполнен невидимыми существами. Эти существа были Альбертом и мною, таинственными, озабоченными и многообразными в иных измерениях времени. Я глянул в окно, и кошмар рассеялся. В черно-желтом саду находился только один человек; он был крепок, как статуя, и направлялся по дорожке к дому— это был капитан Ричард Мадден.

- Будущее уже наступило, - ответил я, - но я - ваш друг. Можно еще раз взглянуть на письмо?

Альберт встал. Открывая ящичек высокого секретера, он на секунду повернулся ко мне спиной. Я уже приготовил револьвер, и выстрелил с предельной точностью: Альберт упал без стога. Клянусь, его смерть наступила мгновенно, словно удар грома.

Остальное нереально, незначительно. Ворвался Мадден. Я был арестован, а позже приговорен к повешению. И все же я победил: мне удалось сообщить в Берлин название города, который следовало атаковать. Вчера его бомбили; я прочел об этом в тех же газетах, которые предлагали Англии мою загадку: ученый-синолог Стивен Альберт убит неизвестным по имени Ю Пун. Мой шеф разгадал эту загадку. Он знал, что моя задача состояла в том, чтобы указать /несмотря на помехи, создаваемые войной/ город под названием Альберт, и что я не сумел сделать это иначе, как убив человека, носящего это имя. Он не знал /и никто уже не узнает/ моей безмерной подавленности и бесконечной усталости."
